

Матвей Михайлович Коргуев



В 1947 году в предисловии к сборнику «Русские сказки Карелии. Старые записи» известный советский фольклорист М. К. Азадовский писал: «Русская Карелия — не только страна былин и песен, но и страна сказок. Это не только сказки прославленных мастеров Коргуева и Господарева, но и сказки различных безвестных сказителей, разбросанные по различным старым изданиям, а иногда и совсем затерянные». Столь выразительно сформулированное утверждение ученого воспринимается в наши дни как бесспорное. Записи сказок у русского населения Карелии обильны и представляют большой художественный и научный интерес. Только с начала XX века изданы сборники «Северные сказки» (составитель Н. Е. Ончуков), «Сказки и предания Северного края» (И. В. Карнаухова), «Сказки М. М. Коргуева» (А. Н. Нечаев), «Сказки Ф. П. Господарева» (Н. В. Новиков), названный выше сборник М. К. Азадовского, «Сказки Терского берега» (Д. М. Балашов), «Беломорские сказки» (А. П. Разумова и Т. И. Сенькина), популярный сборник «Перстенок — двенадцать ставешков. Избранные русские сказки Карелии» (К. В. Чистов); ждет публикации сборник пудожских сказок. В архивах Петрозаводска, Москвы и Ленинграда накоплено значительное количество записей, особенно



Матвей Михайлович Коргуев

30—60-х годов нашего века. Опубликованы и хранятся в архивах сказки таких замечательных мастеров, как Мануйла Петров, М. М. Коргуев, Ф. П. Господарев, Ф. И. Свиньин, Ф. Ф. Кабренов и др. Почему же в предисловии к своему сборнику М. К. Азадовский все-таки счел необходимым специально доказывать, что Карелия

(имеются в виду русские районы Карелии) — «страна сказок»? Разве кто-нибудь сомневался в этом?

Дело в том, что записи сказок в бывшей Олонецкой губернии и в тех районах Архангельской губернии, которые после революции вошли в состав современной Карелии, начались сравнительно недавно. Собственно, то же самое можно сказать и о подавляющем большинстве других районов Русского Севера. Основные сборники, в которые вошли севернорусские сказки из других районов, опубликованы лишь в последние предреволюционные годы (сборник братьев Б. М. и Ю. М. Соколовых «Сказки и песни Белозерского края» — в 1915 году, сборники сказок Вятской и Пермской губерний Д. К. Зеленина — в 1914 и 1915 годах), т. е. даже позже сборника Н. Е. Ончукова, по сути дела начавшего публикацию олонечких сказок (1908). Но дело не только в том, что русские сказки Карелии и севернорусские сказки до Н. Е. Ончукова не издавались. Они почти и не записывались. Доончуковские записи, тщательно собранные М. К. Азадовским, составили небольшую книжечку, которая не идет ни в какое сравнение с накопившимися к этому времени многотомными собраниями былин, песен, причитаний. Одним словом, систематические записи русских сказок в Карелии начались почти полувеком позже, чем записи былин, причитаний и песен. И это несмотря на непрерывное внимание и интерес собирателей и исследователей к Русскому Северу, начиная с середины шестидесятых годов XIX века.

Факт, отмеченный М. К. Азадовским, не один раз обсуждался исследователями. Н. П. Андреев считал, что сказки были заслонены в сознании собирателей былинами. Однако, как справедливо замечает М. К. Азадовский, это не помешало записывать песни и причитания.

С. В. Максимов еще в 1897 году писал, что, вероятно, собирателей остановило обилие сказок. Однако и эта причина не могла быть ни единственной, ни главной.

Во второй половине XIX века собирателей страшило не обилие материала, а уже замеченное его оскудение. И в этом М. К. Азадовский тоже прав. Он выдвигает более сложную причину. Еще П. Н. Рыбников считал, что в сказке с большей силой выражается личное, исполнительское начало, но его интересовала прежде всего традиция, выражение коллективного художественного опыта народа, его историческое наследие, сохранение которого и представлялось главной заслугой исполнителей. М. К. Азадовский показывает, что даже в причитаниях И. А. Федосовой Е. В. Барсов ценил не живое отражение крестьянской жизни, а традицию. «Такое понимание сказки,— пишет далее исследователь,— в то время было общим; оно было закреплено и авторитетом Ф. И. Буслаева». Действительно, так называемая «мифологическая школа», крупнейшим представителем которой в России был академик Ф. И. Буслаев, считала, что сюжеты повествовательного фольклора первоначально сложились как мифологические, а дальнейшая их история была последовательным искажением, порчей. Этот процесс имел несколько стадий. Важнейшие из них — превращение мифа в эпос, а эпоса в сказку. Таким образом, сказка представляет собой будто бы последнюю стадию разложения мифа. Естественно, что она интересовала меньше, чем эпос (былины), считалась менее ценной для исторического исследования.

Объяснение, казалось бы, весьма убедительное, и все же возникает вопрос, который остается без ответа. Действительно, севернорусская сказка начала поздно собираться и поздно заинтересовала исследователей. Однако этого нельзя сказать о русской сказке вообще. В те же десятилетия, когда создавалось былинное собрание П. В. Киреевского и П. Н. Рыбников открыл в Карелии былины, а Е. В. Барсов — причитания, возникло знаменитое собрание сказок А. Н. Афанасьева, в котором было опубликовано более пятисот текстов из архива Русского

географического общества. Это было собрание, имевшее общенациональное значение и показавшее русскую сказку в ее важнейших качествах и особенностях. Недаром сборник этот («Народные русские сказки») стали называть «русским Гриммом», подчеркивая тем самым, что он имеет такое же значение для истории русской культуры, как знаменитый сборник братьев Гримм «Детские и семейные сказки» для немецкой. Более того, в тогдашней европейской фольклористике сборник А. Н. Афанасьева не только встал рядом со сборником Гриммов, но и символизировал дальнейшее развитие европейского сказковедения в целом. Он и сейчас остается одним из лучших, наиболее капитальных сборников сказок в мировой фольклористике. Следовательно нельзя сказать, что сказка в России вообще не привлекала внимания фольклористов. Об этом же говорят и последующие публикации второй половины XIX века (сборники Садовникова, Худякова, Чудинского, Эрленвейна и др.). Если считать, что основной причиной невнимания к сказке собирателей в севернорусских районах были воззрения мифологической школы, то становится непонятным, почему они не воздействовали с такой же силой на собирателей в других районах России и как получилось, что составителем и издателем классического сборника русских сказок стал один из крупнейших представителей этого направления А. Н. Афанасьев?

Убедительные ответы на эти вопросы еще не найдены. Наиболее вероятным представляется следующее объяснение. Сказки, так же как и песни, были довольно равномерно известны по всей России. Во второй половине XIX века их можно было записывать везде. Были же записывались в это время кроме Европейского Севера лишь в некоторых районах Сибири, связанных с ним исторически, и на Дону в форме былинных песен. В остальных районах России известны лишь единичные записи. Столь крупных мастеров эпоса, как на Русском

Севере, не было обнаружено нигде ни в XIX, ни в XX веке. Рядом с ними можно вспомнить разве только алтайского певца былин Л. Г. Тупицина. Поиски, которые предпринимались в XX веке, привели только к одному существенному результату — распространению представлений об олонецкой традиции на Архангельскую губернию: Печору, Мезень, Пинегу и др.

Иная, хотя в принципе сходная картина рисуется, когда мы вспоминаем об истории записи в районах распространения причитаний. Постепенно выяснилось, что причитания бытуют по всей русской территории (или по крайней мере в большинстве районов расселения русских), однако столь мощной традиции, как на Русском Севере, все-таки обнаружено не было.

Итак, с одной стороны, яркая характерность былин и причитаний для Русского Севера и невозможность в других районах найти столь первоклассных исполнителей этих жанров, с другой стороны, определенные представления об относительной ценности былин, сказок, причитаний, песен и т. д. Былины действительно всегда были в центре внимания русской фольклористики, так же как руны — в центре внимания фольклористов, занимавшихся карельским фольклором, или сербские эпические песни в поле зрения исследователей сербского фольклора.

«Отвлекающее воздействие» былин сказалось не только на изучении и собирании сказок, еще сильнее оно повлияло на изучение русских преданий (следовало бы еще добавить — и исторических песен!). Русская фольклористика, всегда имевшая в своем распоряжении необычайное богатство эпического материала, сильно отстала от фольклористов тех стран, фольклорные традиции которых не имели эпоса и для которых предания (или предания в сочетании с так называемыми историческими балладами) были единственным жанром, отразившим историческую жизнь народа. Так было до тех

пор, пока историзм фольклора понимался как отражение политических или военных событий, а не народного быта, народного художественного творчества, народного мировоззрения в более широком смысле этого слова.

Итак, складывается довольно противоречивая картина. Собираение и изучение сказок на Русском Севере, в том числе и в русских районах Карелии, началось чрезвычайно поздно, но начавшись поздно, тем не менее дало обильные результаты. Так, только в архиве Карельского филиала Академии наук СССР хранится более пятисот записей сказок, сделанных в селах по берегам Белого моря, и более восьмисот записей из Пудожского района. Одно из важнейших достижений советской фольклористики в этой области («открытие») — исчерпывающая запись и издание сказок одного из крупнейших (если не крупнейшего!) русских сказочников беломорского помора Матвея Михайловича Коргуева.

Первая встреча М. М. Коргуева с собирателями фольклора произошла в 1934 году. В его родное село Кереть на северо-западном берегу Белого моря приехала группа фольклористов, обследовавших рыболовецкие села. Были сделаны первые записи, которые показали, что Коргуев сказитель очень высокого класса. В дальнейшем вся работа с ним была поручена ленинградскому фольклористу А. Н. Нечаеву.

А. Н. Нечаев так впоследствии вспоминал о своей первой встрече с Матвеем Михайловичем: «Моя первая с ним встреча произошла в тридцати километрах от деревни на острове Белого моря, где он с бригадой колхозников ловил рыбу, или, как там говорят, сидел на тоне. В день моего приезда лов был особенно удачен. Бригада рыбаков после тяжелой работы только на несколько часов завернула в избу. По моей просьбе Матвей Михайлович после ужина начал рассказывать одну из больших волшебных сказок. Рассказ продолжался

около полутора часов. Но следует отметить, что до самого конца все слушали с огромным вниманием о чудесных подвигах героя. И уже после, когда укладывались спать, все еще продолжали возвращаться к отдельным наиболее ярким эпизодам и удачным местам сказки. Так он умеет держать в напряжении слушателей». В последующие годы М. М. Коргуев и А. Н. Нечаев встречались много раз в Керети, в Петрозаводске и в Ленинграде. Запись сказок длилась несколько лет. Была поставлена задача постараться записать все, что знает замечательный сказочник. В 1937 году запись в основном была закончена. Результаты оказались еще более впечатляющими, чем предполагалось вначале. От М. М. Коргуева было записано сто пятнадцать сказок, большинство из которых были весьма пространными. По мысли профессора М. К. Азадовского собиратель А. Н. Нечаев начал подготовку капитального издания, которое должно было отразить последние достижения сказковедения и в приемах записи, и в научном комментировании текстов, и во вступительной статье. Рядом с переиздававшимся тогда сборником «Народные русские сказки» А. Н. Афанасьева, который демонстрировал русскую сказку в ее избранных образцах из самых различных областей России, сборник М. М. Коргуева должен был стать образцовым изданием записей от одного сказочника. Именно поэтому в нем публиковались не только заметки диалектолога о языке сказок, записанных от М. М. Коргуева, но и методическая статья известного лингвиста Б. А. Ларина, в которой формулировались основные принципы записи, рекомендованные всем, кто стал бы записывать от русских исполнителей фольклора. Они вырабатывались в сотрудничестве с М. К. Азадовским, поэтому обычно называются «правила Ларина-Азадовского». Коротко они состоят в следующем: фольклорный текст не должен превращаться в фонетическую запись (транскрипцию), читать

которую сможет только опытный языковед-диалектолог. К ней следует предъявлять только фольклористические требования. Для этого достаточно отметить отклонения от литературного произношения, от литературных морфологических норм или синтаксиса. Фольклористическая запись не должна фиксировать расхождения правописания и произношения, если они совпадают с принятыми в литературном языке. Читатель справится с ними сам. Так, например, не должно специально отмечаться «аканье», традиционное для русского литературного произношения (произносим «карова», но пишем «корова», так же следует поступать и при фольклористической записи), не должны отмечаться привычные способы произнесения окончаний слов (мы пишем «чистого», а говорим «чистава») и т. д. Подобная облегченная запись не мешает читать сказки ни специалисту-фольклористу, ни читателю, владеющему литературной орфографией. Она даст многое и диалектологу, т. е. специалисту по народным говорам. Впрочем, диалектологи могут снабжать издания сказок избранными образцами текстов, записанных еще более точно (так было сделано и в двухтомнике М. М. Коргуева).

Комментарий тоже должен был решать целый ряд задач, выходящих за пределы объяснения текстов, напечатанных в сборнике. Вместе с комментарием сборник А. Н. Афанасьева должен был стать сводом знаний об отдельных сюжетах, подобно тому как подготавливавшийся в это же время капитальный сборник былин А. М. Астаховой, о котором мы уже упоминали, должен был на севернорусском материале подытожить целый ряд важнейших научных проблем в общерусском масштабе. Такую же задачу преследовала вступительная статья к сборнику записей от М. М. Коргуева. Здесь были обсуждены общие вопросы севернорусской фольклорной традиции, ее современных судеб, ее особенностей и перспектив.

Все это стало возможным, потому что записи от Коргуева показали, что в отдельном издании его сказок будут представлены не случайные тексты. Их достаточно много, и они — результат талантливого обобщения севернорусской сказочной традиции в ее богатейшем беломорском варианте. Тексты, отобранные для издания, составили два весьма объемистых тома, не имеющих себе равных ни в русской, ни в европейской фольклористике. Столько сказок от одного сказочника еще не записывалось и, тем более, не издавалось под одной обложкой.

Но и это еще не все. Собиратель и редактора поняли, что М. М. Коргуев (каких бы похвал он ни заслуживал) — явление для Белого моря не уникальное, а скорее типическое. Он не единственный, а «первый среди равных». Поэтому его сборник должен был открыть серию сказок карельского Беломорья и составить первые два тома ее под названием «Сказки, рассказанные М. М. Коргуевым». Вслед за ними должен был быть подготовлен сборник сказок, записанных от его земляка Ф. И. Свиньина, затем сказки, записанные от керетчанина В. П. Меньшикова, региональный сборник «Сказки карельского Поморья» и другие. Таким образом, беломорская сказочная традиция была в целом оценена весьма высоко, и два тома М. М. Коргуева должны были открыть серию публикаций многочисленных записей от сказочников Беломорья. Одновременно было признано, что пока готовится фундаментальный сборник, не дожидаясь его выхода, следует дать массовому читателю «малого» или «избранного» М. М. Коргуева. Это было сразу же осуществлено. В 1938 году ленинградское издательство выпустило сборник «Беломорские сказки, рассказанные М. М. Коргуевым».

Вступительная статья к этому «малому» Коргуеву впервые познакомила читателей с биографией прославленного сказочника. Она тоже оказалась весьма типич-

ной для помора. Он родился в 1883 году в Керети, в одном из крупнейших поморских сел, расположенном на берегу керетского залива в северной части карельского берега Белого моря, недалеко от входа в Кандалакшскую губу. Как и Кандалакша, Кереть вовсе не была захолустным селом, расположенным вдалеке от человеческого жилья и жизненно важных центров этой части нашей страны. Это было большое рыболовецкое, торговое и лесопромышленное село. Основным занятием жителей был морской рыбный и звериный промысел, однако Кереть одновременно была перевалочным пунктом хлеботорговли, снабжавшим северную Карелию и северную Финляндию хлебом, доставлявшимся сюда из южных губерний России через Архангельск или другим путем. На острове, замыкающем вход в керетский залив, был расположен один из крупнейших в северной России лесозаводов, принадлежавших известному купцу Беляеву. Сюда доставляли лес из глубинных районов Карелии, сплавивая его по рекам, обрабатывали и отправляли в европейские порты. Недалеке от Керети еще с новгородского времени добывали слюду, а речка Кереть славилась своим жемчужным промыслом. Таким образом, Коргуев рос вовсе не в какой-то косной и консервативной среде, которую старая фольклористика считала важнейшим условием сохранения сказочной традиции, а среди поморов, отличавшихся большой промышленной и хозяйственной активностью и связанных со многими районами русского и зарубежного Европейского Севера, на перепутье торговых путей и на перекрестке культурных взаимодействий и взаимовлияний. Примечательно, что отец его керетский помор, а мать карелка. Он с детства не только знал карельский язык, которому научился от матери и родного дяди, но и пел карельские руны (одна из них опубликована в известном сборнике «Карельские эпические песни») и знал карельские сказки.

Сложный вопрос о взаимодействии сказок Коргуева с карельской сказочной традицией еще далеко не изучен. Неоднократно высказывались предположения, что некоторые сюжеты сказок Коргуева, неизвестные в других районах России, карельского происхождения. Кроме того, назывался целый ряд характерных образов, заставляющих вспомнить карельский фольклор. Так, например, в сказке «Червонный валет» огромный орел гонится за лодкой, в которой сидит герой. Это действительно напоминает погоню Лоухи за Вяйнямейненом и Ильмариненом в карельских рунах. Совсем недавно финляндский фольклорист В. Кауконен обратил внимание на сходство руны о смерти другого героя «Калевалы» Лемминкяйнена со сказкой Коргуева «Виноград Виноградович».

Учиться Коргуеву было в детстве недосуг. Очень рано умер его отец, и с девяти лет будущий сказочник стал подпаском, а с тринадцати — поваренком на купеческом судне. Всю жизнь он мечтал обзавестись собственной снастью, чтобы стать самостоятельным помором. Взрослым он стал ходить в море, нанимаясь в артели, прирабатывал на лесозаводе, на строительстве Мурманской железной дороги и прокладке телеграфной линии вдоль нее. Как он вспоминал позже, на рыбацких тонях, на судах, в землянках лесорубов и строительных работах он слышал много сказок и рано начал их рассказывать. Каждая вновь услышанная сказка была для него целым событием, и через двадцать-тридцать лет он мог точнейшим образом вспомнить, при каких обстоятельствах это происходило, кто и как рассказывал сказку. Так, например, в конце 30-х годов он отчетливо помнил, что сказку «Францель Венециан» он слышал от одного из рабочих в 1904 году в дождливый день.

Видимо, довольно молодым еще Коргуев стал славиться среди поморов как отличный знаток сказок, его стали нанимать в артели специально для рассказывания

сказок по вечерам, выплачивая за это отдельный пай. Позже, когда он был уже пожилым человеком и ему трудновато стало уходить в море на несколько месяцев, он стал оленьим пастухом. Он вспоминал как-то при мне, что за поимку строптивых молодых оленей, не хотевших идти в загон, расплачивался с молодежью, специально просившей его об этом, сказками.

Коргуев только в последнее десятилетие своей жизни стал пускаться в дальние путешествия по суше, бывал не только в Архангельске, где до 1936 года был всего один раз, но и в Петрозаводске и много раз в Ленинграде и Москве, это было теперь связано с его славой сказочника и изданием записанных от него сказок. Однако встреч и сказок всегда было много. Он впитывал их жадно и запоминал сразу. Репертуар его все расширялся, старые сказки дополнялись новыми, только что услышанными, русские — карельскими, поморские — сказками, слышанными от людей, пришедших из других мест России.

В 1931 году ему довелось работать в геолого-разведочной экспедиции. Как вспоминал он позже, весь сезон ежедневно по вечерам он рассказывал сказки. Рассказывал он об этом с гордостью, т. к. обычно рассказчики меняются, каждый рассказывает, что может, а он один занимал экспедицию весь сезон. Если считать, что экспедиция работала с мая по сентябрь, как это обычно бывает в северных районах, т. е. пять месяцев, и каждый вечер рассказывалась одна сказка (вспомним, что сказки М. М. Коргуева всегда отличались своей длиной), то это означает, что «за сезон» он рассказал сто пятьдесят — сто шестьдесят сказок. Вполне вероятно, что именно столько он и знал в то время.

Я уже говорил о том, что двухтомный сборник М. М. Коргуева был первым опытом исчерпывающей записи сказок, которые может рассказать один сказочник. Первым, но не единственным. В те же годы велась

запись от воронежской сказочницы А. К. Барышниковой (Куприяники), позже от таких крупных исполнителей, как П. Ф. Ковалев, Ф. Ф. Кабренев, А. П. Королькова, Е. И. Соровиков, М. А. Сказкин, уже упоминавшегося нами Ф. П. Господарева, белоруса по национальности, долгие годы работавшего на Онежском заводе в Петрозаводске. Много сказок было записано еще в XIX — начале XX века от таких крупных мастеров этого жанра, как А. Новопольцев, Р. Ф. Чмыхало, Н. О. Винокурова и др. В истории русского фольклора М. М. Коргуев воспринимается в этом славном ряду имен. От некоторых из них было записано почти столько же текстов, как и от М. М. Коргуева (например, от А. К. Барышниковой — сто шестнадцать), однако сборник М. М. Коргуева кажется на фоне других изданий целой библиотекой. Два его тома содержат без малого тысячу пятисот страниц. Связано это с тем, что каждая сказка, которую он рассказывал, была в среднем в два-три (иногда и более) раза длиннее, чем сказки Барышниковой или Ковалева. Откуда же у него это стремление превращать каждую сказку в столь длинное повествование? Знакомство с записями от других крупнейших сказочников-поморов показывает, что это общее свойство сказок этого края, а не индивидуальное качество М. М. Коргуева, хотя и проявилось оно у него очень ярко. Средняя величина записей от поморов двадцать пять-тридцать страниц. В то же время среди записей от Ф. И. Свинына можно найти тексты, занимающие до ста страниц машинописи. Это своеобразное явление объясняется специфическими условиями рассказывания сказок на Белом море. Поморскую сказку со всеми ее особенностями нельзя понять, не зная быта поморов, так же, как нельзя, например, понять закономерности развития русской народной песни на Дону, не зная казачьего быта — походов, привалов, степного земледелия, формирования казачества из беглых крестьян, искавших на

окраинах русского государства земли и воли, но постепенно превратившихся в привилегированное военное сословие и т. д.

Поморы — это севернорусская вольница, сложившаяся в суровых условиях полярного морского рыболовства и зверобойного промысла. Характерно, что большинство известных нам беломорских сказочников даже в последние десятилетия, когда сказка здесь, как и в других районах России (а также Европы в целом), стала рассказываться уже заметно меньше, были мужчины. Рассказывалась сказка преимущественно во время «сидения на тоне» и предназначалась взрослому слушателю. Расставив «ловушки», т. е. различные снасти морского лова, главным образом ставные невода, рыбаки возвращались для отдыха, варки пищи и сна в избу, или в «фатерку», которые ставились на берегу в районах постоянного лова, иногда удаленных от рыбацких сел на многие десятки верст. Потом снова отправлялись в море, «похажали сети» (выбирали невода и попавшую в них рыбу), снова расставляли «ловушки» и снова возвращались на берег. Затем следовала обработка рыбы — ее «шкерили» (т. е. чистили), солили, вялили или коптили и опять отдыхали до следующего выхода в море. Таким образом, для отдыха и досуга было довольно много времени. Вместе с тем необходимо было отвлечься и отдохнуть, потому что работа в море была исключительно тяжела, полна опасности и напряжения. Еще тяжелее был быт на зверобойном промысле в зимние и весенние месяцы. Дома же, в селах, рыбаков ожидали долгие полярные зимние вечера, плетение сетей и другое домашнее поморское «рукомесло».

Чтобы представить себе быт поморов без всякой модернизации, надо вспомнить, что ни в селах, ни тем более в «фатерках» почти не было книг и тем более не было радио, газет, даже свежий человек появлялся очень редко. Можно себе представить, сколь желанным

в таких условиях был сказочник! С другой стороны, легко понять, почему беломорские сказки отличались неторопливостью рассказа и усложненностью сюжетов. Рассказывали и слушали сказки не торопясь, обстоятельно и степенно. Очень ценилось умение исполнять не коротенькие повестушки, а сказку, которой хватало на весь вечер или по крайней мере на значительную часть его. Во введении я уже говорил о договорах рыбацких артелей со сказочниками, по которым им выделялся полный рабочий пай только за рассказывание сказок. При этом иной раз специально оговаривалось обязательство сказочника рассказывать сказку, пока не уснет последний слушатель. Рассказчику надо было занять слушателей, а слушателям не хотелось расставаться со сказкой. Престиж сказочника был высок, умение или тем более мастерство сказывать ценилось, сказки никогда здесь не считались пустячком, детской забавой, их знали и рассказывали самые степенные люди.

Весьма интересные наблюдения о соотношении разных видов сказок в Поморье содержатся в предисловии А. П. Разумовой к упоминавшемуся уже сборнику «Русские народные сказки Карельского Поморья» (Петрозаводск, 1974). А. П. Разумова пишет, что даже «в последние годы, когда выявлять сказочников становится значительно труднее, прежде всего удастся записать волшебные сказки». Это явление достаточно удивительное, т. к. в других районах России по мере изживания устного бытования сказки все больше и больше преобладают бытовые, новеллистические, авантурные, сатирические или специально детские сказки о животных. «Нагруженная различными событиями сказка,— пишет далее исследовательница,— в Поморье особо ценится и в настоящее время. Исполнители коротких анекдотических или животных сказок, признавая приоритет длинных волшебных, нередко отказываются рассказывать свои «прибаутки» для записи, обычно в та-

ких случаях собирателя отсылают к другим, более авторитетным сказочникам: «А вы подьте к Гаврилычу, он хороши, долги сказки знает, заведет, так на всю ночь, а то и не на одну хватит». Разумова приводит затем еще один случай: «В деревне Вирма Беломорского района восьмидесятилетняя Степанида Ивановна Головина, рассказав несколько великолепных сказок о животных, была удивлена, что мы записываем их на магнитофон. «Да что вы, женки? Куда вам с этима сказками? Хороша сказка, так она ведь долга. А много ли этой сказки? Тьфу!»

Итак, специальное название, распространенное в Поморье, — «долгая сказка». В известной мере она параллельна «протяжной» песне, тоже широко распространенной здесь и тоже исполнявшейся неторопливо, раздумчиво. Рассказывать ее надобно так, чтобы «сказки» было «много».

Особенная длина и усложненность беломорской сказки давно обратили на себя внимание. Однако только сравнительно недавно были специально изучены способы усложнения (или, как говорят фольклористы, «контаминации») не только русской сказки вообще (Н. М. Ведерникова и др.), но и специально беломорской сказки. Такая работа была предпринята бывшей студенткой филологического факультета Ленинградского университета, теперь учительницей одной из сельских школ в Архангельской области, Т. А. Ивановой. Об этом же писала во вступительной статье к вышедшему в 1974 году сборнику «Русские народные сказки карельского Поморья» А. П. Разумова. Т. А. Иванова внимательно просмотрела все известные записи беломорских сказок, как опубликованные, так и хранящиеся в архивах. Подсчет показал, что примерно половина сказок, записанных на берегах Белого моря, имеет нарочито усложненные сюжеты. В других случаях «разбухание» сказки достигается иными способами — не вве-

денем новых эпизодов, усложняющих повествование, а как бы насыщением, наполнением, внутренним развитием традиционного сюжета. Совершенно так же и у М. М. Коргуева. Так, например, из двадцати восьми сказок, напечатанных в первом томе двухтомного издания, по крайней мере тринадцать имеют явно и нарочито усложненные сюжеты. Приведем пример. Перед нами сказка, значащаяся под № 20 «Лани». Пересказать ее очень трудно. Занимает она в книге двадцать одну страницу убористого печатного текста. Для того чтобы дать о ней представление, воспользуемся очень удачным и максимально кратким пересказом издателя сборника А. Н. Нечаева (заметим, кстати, что не случайно для подобного сборника понадобились подобные краткие пересказы. Тексты в нем так длинны, что в них трудно быстро ориентироваться): «Бедняк отправляется искать свое счастье. Встречный старик рассказывает ему о волшебной уточке. Бедняк достает уточку, которая будет приносить по два червонца в ночь тому, кто ее съест. Крестьянин рассказывает об этой уточке богатому брату. Тот хочет ее купить и дает задаток. Жена крестьянина отказывается продать уточку и кормит ею своих сыновей. Богатый брат узнает об этом и хочет погубить мальчиков. Они бегут из дома, поселяются у старика в лесу. Он делает из них хороших стрелков. Дает им по ружью и саблю, которая сразу потемнеет при смерти одного из братьев. Братья расходятся в разные стороны, саблю берет Василий. Он хочет убить, а потом щадит зайца, волка, медведя и льва. Они все отправляются за ним. Василий убивает с помощью своих зверей у озера змея, спасает царевну. Царевна привязывает всем зверям приметки и уезжает домой, он остается караулить озеро. Богатырь, посланный царем спасти царевну и испугавшийся змея, убивает Василия во время его сна. Сам хочет жениться на царевне. Заяц достает живой и мертвой воды, и звери воскрешают своего хозяина.

Василий приходит к царевне, она узнает его зверей и выходит за него замуж. Второй брат так же набирает себе друзей — зверей. С их помощью убивает змея, отправляется к царю свататься к царевне. Мнимый спаситель царевны убивает его. Звери воскрешают Михаила, он женится на царевне. Отправляется на охоту, гонится за ланью, она заводит его в заколдованные леса. На ночлеге ведьма просит позволения погреться у костра, обращает Михаила и всех зверей в камни. Брат его Василий по потемневшей сабле узнает о несчастье Михаила. Едет его спасать. Жена Михаила принимает его за мужа, он ее отталкивает. Василий попадает в те же заповедные леса, завлеченный ланью. Ведьма так же хочет обратить его в камень, но он разгадывает ее хитрость, побоями заставляет ее расколдовать брата. Рассказывает брату о жене. Михаил из ревности убивает брата, затем раскаивается, посылает зайца за живой и за мертвой водой и воскрешает его. Братья требуют у ведьмы, чтобы она расколдовала леса. Все деревья превращаются в людей. Убивают ведьму, едут к жене Михаила. Царевна узнает своего мужа, и он становится царем, а Василий уезжает домой».

Каждый читатель, который в детстве прочитал или слышал какое-то количество русских сказок, будет поражен обилием приключений, выпадающих на долю героев сказки, ее усложненностью, которая явственно выступает даже в кратком пересказе. Очень редко, например, встречаются сказки, в которых оба брата дважды по очереди совершают сходные подвиги — побеждают змея и освобождают царевну. Повторяется здесь и попытка обмануть братьев, повторяется наказание ложных героев, пытающихся уничтожить сперва первого, потом второго брата. Дважды звери (разные!) добывают живую и мертвую воду и воскрешают своих хозяев.

А. Н. Нечаев в своих комментариях к этой сказке справедливо говорит, что она представляет собой объе-

динение нескольких сюжетов, которые в других сборниках встречаются как самостоятельные: «Две доли» (о богатом и бедном крестьянине), «Чудесная птица» (о волшебной уточке), «Чудесное ружье», «Благодарные животные» и, наконец, «Заколдованная царевна». Собственно, эти сюжеты известны нам не только по записям от других исполнителей, они встречаются в других сказках самого же Коргуева. Чудесная уточка и приключения, связанные с ней, во многом похожие, изображаются в сказке «Север» (Сапоги-скороходы), а сюжет «Два брата» в сказке «Виноград Виноградович».

Не менее сложен сюжет сказки «Как Елена Королевна вывела царского сына от волшебного короля». В основе ее известный сюжет «Обещанный сын» («отдай, чего дома не знаешь»), осложненный на этот раз только одним дополнительным сюжетом — «Война птиц и зверей» (птицы и звери ссорятся из-за зерен, оставленных на сжатой полосе), однако, как отмечал еще А. Н. Нечев, текст, записанный от беломорского сказочника, дает наиболее полный набор сказочных мотивов, по сравнению с тем, что могло бы быть использовано другими сказочниками в этом случае. В текст сказки постоянно вводятся местные бытовые черты: море, лес, болото, озеро; хлеб сеется на ниве — выжженной вырубке, как это делалось во многих севернорусских районах. Очень показательны и способы внутреннего сцепления сказочных мотивов. Война птиц и зверей вспыхивает из-за того, что батраки, работающие у помещика, жнут не чисто. Причина вполне обыкновенная, бытовая. В то же время после войны остается в живых только раненый орел. Царевич жалеет его, выхаживает, и это дает начало дальнейшему развитию сказочного действия — орел несет своего спасителя в свое царство, его сестры награждают царевича волшебными предметами и т. д.

О сказках М. М. Коргуева писалось много: в сборниках, в которых публиковались или перепечатывались его тексты, в школьных и вузовских учебниках, в журналах 30—40-х годов, особенно после награждения сказителя орденом «Знак Почета» в 1937 году, после того как он был принят в Союз писателей вместе с другими крупнейшими исполнителями фольклора и т. д. Сказки, им рассказанные, неизменно оценивались очень высоко. При этом стало традицией говорить о реализме сказок М. М. Коргуева или по крайней мере о реалистических тенденциях или элементах. Это связывается с характерным для трудового крестьянства стихийно-материалистическим (-реалистическим) мировоззрением или с представлением об общем развитии народного поэтического творчества от не-реализма к реализму. При этом приводятся многочисленные примеры, в которых фигурирует местная природа (море, реки, леса), черты поморского рыболовецкого быта (корабли, снасти, охота) и так называемые психологические мотивировки поступков сказочных героев и т. д. Примеры, казалось бы, весьма убедительные и интересные. Однако странная вещь! Когда начинаешь читать сами сказки, об этих «чертах реализма» совершенно забываешь, они явно второстепенны, и не ради них рассказываются сказки. Кроме того оказывается, что они вовсе не противоречат сказочной фантастике, не разрушают, а наоборот, скорее способствуют ее развертыванию, ее выразительности.

Не вдаваясь в теоретические споры со сторонниками того, что я назвал бы «стыдливым реализмом», согласно которому сказка достойна похвалы только в том случае, если в ней отыщутся элементы реализма, обратим внимание на следующее обстоятельство бытового характера. Каждый, кто провел хоть один вечер в рыбацкой избушке на тоне в то время, когда традиционный фольклор жил в ней полнокровной жизнью, хорошо знает, что рассказывались не только сказки, но достаточно много

и вполне реалистических «былей» — случаев из жизни, воспоминаний о рыбацких и охотничьих удачах и неудачах, о хождениях на Новую Землю, на Грумант (Шпицберген), об участии поморов в полярных экспедициях, о былых походах и войнах, о годах гражданской войны, о бомбежке английскими военными кораблями города Колы и Соловецкого монастыря в годы Крымской войны, о преследовании староверов, наконец просто о разных случаях из деревенской жизни — о верных и неверных женах, о свадьбах, о пожарах... Да мало ли о чем могли рассказывать друг другу люди, подолгу жившие вместе в избушке! Кстати, во втором томе «Сказок М. М. Коргуева» приводится целый ряд подобных рассказов, хотя надо сказать, что А. Н. Нечаев записывал от него прежде всего, конечно, сказки. Одним словом, оценка сказок и их толкование невозможно, если мы забудем о том, что в действительности они были не единственным, а только одним из многочисленных жанров устных рассказов (пусть даже очень важным и ценным). При этом традиционное рассказывание (т. е. на протяжении ряда поколений передаваемое из уст в уста) мирно уживалось с однодневками, «разовыми рассказами», сказочное с несказочным, реалистическое с нереалистическим. Все они имели разное предназначение, разную цель и разный смысл, совершенно так же, как это было и с песнями. Частушки вовсе не конкурировали с похоронным причитанием, а хороводная песня — с былиной, свадебная песня — с рождественским «виноградьем» и т. д.

Кстати говоря, в поморской среде, как на тонях, так и в селах, бытовали еще и другие, условно говоря, «нереалистические жанры»: житийные повести, религиозные легенды, так называемые «былички», т. е. рассказы о сверхъестественных существах — водяных, леших, домовых, баенниках, овинниках и т. д. И все это вовсе не означает, что «реалистические тенденции» должны

были пробиваться сквозь толщу сказочной или религиозной фантастики, а «элементы реализма» постепенно (и как бы стыдливо!) накапливаться в сказках, чтобы в конце концов превратить их в реалистические повести или романы. Реалистические рассказы всегда существовали рядом со сказками, но до известной поры, как мы уже говорили, весьма мирно уживались с ними. Первые из них рисовали поморскую действительность такой, какой она была на самом деле, выбирая из нее самое примечательное, важное, существенное или просто занимательное. Другие пополняли эту действительность, реализовали в форме сказки свои представления о добре и зле, рисовали желаемую победу добра, справедливости, честности, смелости, далеко не всегда достижимую в социальных условиях старой России. Реалистическая повесть и реалистический роман уже в наши дни вытеснили из народного быта сказку (или, точнее, сказку в ее старой традиционной форме). Это была уже не переродившаяся сказка, а профессиональная литература, пришедшая в народный быт вместе с грамотностью, школой, книгами, радио, кино, телевидением, театром и т. д. Кстати говоря, и в наше время реалистическая повесть и реалистический роман, в собственном смысле этого слова, снова мирно уживаются с фантастикой, теперь уже фантастикой литературного происхождения — научно-фантастическими романами, приключенческими и детективными фильмами. Если все это иметь в виду, то придется придти к единственно правильному выводу: сказки, в том числе и сказки М. М. Коргуева, следует ценить не за то, что они содержат какое-то количество «элементов реализма», а за то, что они были именно сказками, преисполненными фантастики, имевшей вполне определенное художественное и нравственное значение. Именно ради фантастики и существовали сказки, и поэтому старые поморские бытовые устные

рассказы не могли их вытеснить из поморского быта. Они дополняли друг друга.

И все же, перечитывая сейчас сказки, записанные от М. М. Коргуева, и припоминая мои давние впечатления от встреч с ним, я невольно начинаю думать, что к поискам реализма в его сказках привела не только литературоведческая мода или теоретическая неясность. Отчасти в этом как бы виноват и он сам. До Коргуева я слышал других исполнителей сказки — Ф. И. Конашкова, который не только пел былины, но и с удовольствием рассказывал сказки, нескольких пудожских сказочников, от которых я записывал в дни моей первой фольклорной экспедиции летом 1938 года, архангельского писателя-помора Б. В. Шергина и известных ленинградских и московских исполнителей сказки, артистов и ученых, воспроизводивших манеру разных областей, И. В. Карнаухову и В. И. Фунтикову. Мне очень нравилось, как они это делали, смакуя сказку, разыгрывая, театрализуя и заставляя ее переливаться всеми красками.

М. М. Коргуев вошел очень серьезный и спокойный, чуждый всякому лицедейству. Сел очень свободно, как бы занялся каким-то делом — вязанием сетей или плетением корзины, дружески оглядел собравшихся и как бы удовлетворенный, что кругом одни старые знакомые и друзья, хмыкнул в бороду и начал совсем запросто, как будто это была и не сказка, а рассказ о том, как он вчера «похожал сети», что делал тысячу раз в жизни и о чем рассказывал тоже не единожды. Что это значит? Он не понимает, о чем рассказывает? Как же так? Ведь перед нами один из лучших знатоков и исполнителей русской сказки. Постепенно я начал осознавать, что это вполне выработанная и тонко обдуманная манера.

Даже традиционная сказочная формула начала (у Коргуева: «Вот в некотором царстве, в некотором государстве»), которая служила своеобразным сигналом

(«сейчас будет рассказываться сказка!»), произносилась им нарочито обыденным тоном и часто завершалась словами: «...а может быть, в том, в котором мы живем». Это завершение нужно было как-то принять — иронически или серьезно. Вот на этом раздвоении и играл сказочник весьма умело. Сомнение в сказочности того, о чем предстоит рассказ, промерцавшее в самом начале, постепенно забывалось. Слушатель втягивался в сказочное повествование, отдавался ему, а сам Коргуев как бы делал вид, что ничего не происходит, тон его рассказа был по-прежнему обыкновенным, повседневным, домашним. Мысль его воспаряла в высоты сказочного волшебства, происходили самые необыкновенные чудеса, а он делал вид, что ни о чем подобном будто бы и не подозревает. Это постоянное пересечение обыкновенного и необыкновенного, бытового и фантастического не только не разрушало сказочности, а наоборот делало ее еще более яркой и выразительной.

Читателю, наверное, приходилось встречаться с двумя, казалось бы противоположными, типами остроумцев — одни из них смеются вместе со своими слушателями, еще не начав рассказа, а рассказывая, «разыгрываются» все больше и больше, другие же, наоборот, произнося поразительно смешные вещи, делают вид, что ничего не происходит, лицо их прикрыто маской полнейшего равнодушия к тому, о чем говорится.

Всякое сравнение всегда только приблизительно. Коргуев не стремился рассмешить. Он мастерски увлекал слушателя все далее и далее в глубь фантастической страны, в которой царили сказочные законы. Сам же оставался как бы безучастным. Все происходило будто бы помимо его воли, он же, напротив, готов был бы остаться в рыбацкой избушке, где начался рассказ, он рад был бы, если бы все было пообыкновеннее, но что поделать.

Постоянное применение такого приема стало для него привычным, превратилось в своеобразную исполнительскую манеру, которая на первый взгляд как будто противоречила сути сказки, но в действительности, конечно же, опиралась именно на нее. Коргуев вел себя так, как ведут себя герои сказки. Они ведь тоже ничему не удивляются, ни шестиглавному чудищу, ни Кашею Бессмертному, ни Бабе Яге, ни силачам Дубыне, Горыне и Усыне. Герой отправляется в сказочное путешествие из обыкновенного крестьянского домишки (за живой и мертвой водой или за Жар-птицей или еще за чем-нибудь), он верит, что самое невероятное чудо может быть на свете и он сможет его добыть. Не раздумывая, он отправляется в путь, словно идет в соседнее село и, сам того не замечая, где-то пересекает границу сказочного «царства». Как любое истинное мастерство, мастерство сказывания Коргуева оставалось незаметным и вместе с тем непрерывно «работало».

Нарочитая простота его рассказа гармонировала не только с поведением сказочных героев, но и с так называемыми «элементами реализма» в его сказках, о которых мы уже говорили. Сказочный сюжет, оставаясь сказочным при всех усложнениях, выступал у него не в обобщенном и схематизированном виде, как это чаще всего бывает в других районах бытования русской сказки, а как бы наполнялся бытовыми деталями, обычными для Поморья (море, судно, промысел, лодка, плавание).

Об одном из героев сказки говорится: «Он все занимался охотой. Ставил там сілья (т. е. силки.— К. Ч.), ловил птиц и с этого кормился». О другом: «Он уехал, а у него был сын. Звали его Ванюшей. Он все бегал, играл на улочке». Как бы это ни воспринималось городским читателем, для односельчан Коргуева все здесь было привычно, обыкновенно. Так, например, в сказке «Крестьянский сын и Жар-птица» чудесная птица не

прилетает в царский сад за золотыми яблоками, как это бывает в русских сказках, она летает по тайге и попадает в силки. Герой ее «распутал» и положил в кошель. Потом эту Жар-птицу, как рябчика, несут в город продавать. Но так как она птица необыкновенная, ее несут продавать не на базар, а к царю. Собственно, чудеса начались еще раньше. Ведь попадается Жар-птица в силья не взрослому охотнику, а мальчику, который первый раз пошел в лес. Такая удача! И сказка не боится быть щедрой, раз уж удача, то и попалась не простая птица, а птица Жар, от которой сияние, как от солнца.

Даже пересказывая уже упоминавшуюся былинку П. И. Рябинина-Андреева о Чапаеве, М. М. Коргуев не только превращает ее в сказку, но вводит ее в привычный беломорский сказочный мир, в котором всегда переплетается фантастика с подлинными чертами поморского быта. О семье Чапаева он говорит: «Жили они бедно очень, так что своих ловушек не имелось и так же не было своих посудин, на которых нужно было выезжать на лов». Это поморское представление о богатстве и бедности человека. Отправляясь из дому, герой одной из сказок совсем по-поморски говорит матери: «Пеки подорожники». В другой сказке герой получает трудную задачу — пасти зайцев. Он делает это так же, как поморы пасут оленей. Выпускает их в лес, рассчитывая, что к зиме они вернутся в деревню. Однако зайцы есть зайцы, «пасти» их можно только в сказке, поэтому пастуху приходится собирать их игрой на волшебной гармошке.

Кстати говоря, упоминавшаяся сказка о Чапаеве, в свое время вызвавшая большой интерес, показывает, что возможности сказки не безграничны. Она не могла быть одновременно и сказкой и былью. Память о Чапаеве, поддержанная в свое время известным фильмом, могла жить в предании, в легенде, но не в сказке. Либо

Чапаев должен был остаться самим собой и не поместиться в сказку, либо должен был потерять свои индивидуальные «чапаевские» черты и превратиться в обобщенного сказочного героя, свободно переходящего из одного сюжета в другой, в эдакого сказочного Ивана, благородного и доброго, но не претендующего на историческую достоверность. Сказка в изображении исторического Чапаева не могла конкурировать ни с романом Фурманова, ни с кинофильмом братьев Васильевых, ни даже с детскими играми предвоенных лет «в Чапая», где ему сопутствовали не сказочные чудесные помощники, а ординарец Петька и пулеметчица Анка. Не случайно в детских играх последующих десятилетий они были вытеснены битвами с фашистами и рассказами о только что пережитой Великой Отечественной войне. О жизни же сказки о Чапаеве в устной традиции ничего не известно ни в детской, ни во взрослой среде. Она была записана и продолжала жить только в книгах. Сказка должна быть сказкой.

Наполнение сказки бытом, который вместе с тем не разрушает ее, не противопоставлен ей, может быть объяснено и еще одной причиной, немаловажной в историческом отношении.

Сказка в Беломорье очень долго жила полнокровной жизнью, была продуктивной. Именно поэтому и при своей усложненности она успела приблизиться к фантастической приключенческой повести. По этой же причине она не была отгорожена от мировоззрения поморов первых десятилетий двадцатого века. Своим мощным традиционным механизмом она способна была переработать, включить в себя многие явления нового быта. Так, например, в сказке «Шкип» у бежавшей от своего брата царевны и купеческого приказчика рождается необыкновенный сын — Шкип. Он заговорил сразу же, как только родился. Более того, оказалось, что он родился грамотным. Его еще носят на руках, но по его черте-

жам уже строят необыкновенный корабль с «подводными крыльями». (Следует оговориться, что при этом имеется в виду не современный корабль типа «Ракеты» или «Метеора», о которых тогда еще никто не слышал, а подводная лодка, которая на крыльях плавает под водой). В другой сказке чудесным предметом, которым владеет герой, оказывается не ковер-самолет, а маленький самолетик («ероплян»). Его изготовил «монтер», соревнуясь с золотых дел мастером, который выковал золотого голубя. На этом самолетике царевич (играя с ним) улетает в другое государство, где прячет его и поступает к тамошнему царю конюхом. На нем же он потом летает по ночам к своей возлюбленной — царской дочери. У них рождается сын, который по сказочному обыкновению называется Незнайкой. Сказка ничего не теряет от того, что тут же выясняется, будто зовут его «Колей» или даже точнее «Николаем Сергеевичем», так же как она ничего не теряет от того, что обычного для сказки чудесного орла заменяет самолетик. Как показывают сказки из других мест, такая замена не обязательна. Орел может оставаться орлом, но нельзя не признать, что появление в сказке самолетика — примета XX века. Такой «самолетик» не разрушает сказку. Недаром эта сказка М. М. Коргуева больше, чем какая-либо другая, напоминает современные литературные сказки, в которых самолеты, подводные лодки, ракеты стали делом совершенно привычным. Самолетик может поднять в воздух только двух человек. На этом строится длинный ряд приключений, которые переживают герои сказки. Первое из них, например, то, что отцу и матери Коли приходится бежать. Третьего взять они не могут, т. к. самолетик поднимает только двоих. Маленького царевича Колю оставляют у традиционной для сказки бабушки-задворенки. По мере развития действия ситуация все более усложняется, но в конце концов, как это и полагается в сказке, все кончается благополучно. Всех

удается помирить, вернуть домой, восстановить в правах, переженить. Сказка есть сказка.

Кстати, в этих сказках отыскиваются детали, которые свидетельствуют о том, что создание новых сюжетов на основе традиционных продолжалось и в XIX и, видимо, даже в начале XX века. Мы уже упоминали о том, что Шкип родился грамотным. Более того, в сказке «Север» неграмотность, противопоставленная грамотности, оказывается в основе конфликта, завязывающего сюжет. Тот, кому это было необходимо, не может вовремя прочитать «надпись в роте» (т. е. во рту) у чудесной уточки, а там было написано, кто ее съест. Подобные мотивы несомненно сложились достаточно поздно, хотя, разумеется, не исключено, что они заменили собой какие-то другие, более архаичные мотивы, которые играли в развитии сказочного действия примерно ту же роль.

Подобные сказки уживались в репертуаре М. М. Коргуева рядом с классическими — «Еленой Прекрасной», «Кашеем Бессмертным», «Тремя братьями», «Иваном Меньшим, разумом Большим», «Семью Симеонами» и другими, сюжеты которых тоже весьма усложнены, повествование наполнено беломорским «бытом», однако действие развивается в рамках очень традиционных сюжетов, хорошо знакомых и в других областях России. Герои этих сказок, как обычно, добры и справедливы, наделены сказочным оптимизмом. Им помогают чудесные силы. Что бы с героем ни случилось, если он сам добр и благодарен, он дождетя справедливого и доброго конца. Это нравственное начало выступает то прямо и обнаженно, то оно как будто спрятано за бурными приключениями героев, за которыми едва успевает следить мысль слушателя.

Сказочный мир призван был дополнить реальный мир, в котором жили беломорские сказочники и их слушатели. Эти миры постоянно пересекались, как бы

объясняя друг друга. Герои сказки пускались в путь так же решительно и бесстрашно, как поморы в студеное и бурное северное море. Герои сказки и ее рассказчики были безусловно сродни друг другу. Недаром сказка здесь так долго считалась не детской забавой, а серьезным делом, нужным помору и на тоне, и в селе. Недаром о самом Матвее Михайловиче Коргуеве в годы войны возникла легенда, граничившая с правдой. В ней рассказывалось, что смелый помор и знаменитый сказочник, пройдя с оленьим обозом много сотен километров, привез в блокированный Ленинград продукты, собранные поморами. Документального подтверждения легенды до сих пор найти не удалось. Но кто знает, может быть, это и так? По крайней мере в ней заключена своя правда, всегда нужная людям и в сказке, и в быти, и в самой жизни. Несомненно, что М. М. Коргуев и его земляки-поморы были достойны такой легенды, как всегда были достойны они возвращения на берег, как всегда были достойны герои их сказок доброго конца.

Умер М. М. Коргуев во время войны, в 1943 году. Последний раз мы виделись с ним в 1938 году в Петрозаводске. Встретил я его у Филиппа Павловича Господарева — тоже одного из крупнейших русских сказочников XX века (записи от него изданы в сборнике «Песни и сказки на Онежском заводе» и отдельным сборником «Сказки Ф. П. Господарева», подготовленном Н. В. Новиковым). Старики были в это время уже знаменитыми и чувствовали себя знаменитыми. Когда я пришел к Филиппу Павловичу, они хлебали уху из одного горшка (жены Ф. П. Господарева не было дома, иначе она заставила бы их хлебать из тарелок — «по-городскому», что-то пили и оживленно беседовали. Потом рассказывали сказки. Мог ли я подумать, что больше не встречу ни того ни другого и что буду вспоминать об этом ве-

чере на керетском кладбище, которое я посетил в 1960 году?

В 1960 году я побывал в Керети с группой сотрудников Петрозаводского Института языка, литературы и истории и студентов Петрозаводского университета. Мы пробыли в селе почти месяц, записывая песни и сказки. Я побывал на двух керетских тонях, на острове, на керетском мысу, заходил почти в каждую избу, и всюду мне вспоминался кряжистый, спокойный Коргуев, его изломанные тяжелой работой руки, морщинистое лицо, высокий лоб, веселые глаза и черная окладистая борода. Все время казалось, что он зазовет меня в свою избу и весь вечер будет тихим неторопливым голосом рассказывать «долгую» сказку о самых необыкновенных приключениях несловоохотливых, но добрых и смелых героев.

К сожалению, нам не суждено было больше встретиться, и мне остается только вспоминать о талантливом сказочнике, рассказавшем людям так много сказок и вошедшем со своими двумя почтенными томами «Сказок карельского Беломорья» в историю мировой культуры.